

ДИНА РУБИНА

Русская канарейка
Блудный сын



МОСКВА
2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р82

Pocket book
Оформление серии *А. Саукова*
В оформлении обложки использована иллюстрация:
Bibliothèque de l'Opéra Garnier, Paris, France /
Bridgeman Images / Fotodom.ru
100 главных книг
Оформление серии *Н. Ярусовой*

Рубина, Дина.
Р82 Русская канарейка. Блудный сын : [роман] /
Дина Рубина. — Москва : Эксмо, 2019. — 480 с.

ISBN 978-5-699-84233-9 (100 ГК)
ISBN 978-5-699-84234-6 (Pocketbook)

Леон Этингер, уникальный контратенор и бывший оперативник израильских спецслужб, которого никак не отпустят на волю, и Айя, глухая бродяжка, вместе отправляются в лихорадочное странствие — то ли побег, то ли преследование — через всю Европу, от Лондона до Портофино. И, как во всяком подлинном странствии, путь приведет их к трагедии, но и к счастью; к отчаянию, но и к надежде. Исход всякой «охоты» предопределен: рано или поздно неутомимый охотник настигает жертву. Но и судьба сладкоголосой канарейки на Востоке неизменно предопределена.

«Блудный сын» — третий, и заключительный, том романа Дины Рубиной «Русская канарейка», полифоническая кульминация грандиозной саги о любви и о Музыке.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-84233-9 (100 ГК)
ISBN 978-5-699-84234-6 (Pocketbook)

© Д. Рубина, 2019
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2019

Книга третья
Блудный сын

ЛУКОВАЯ РОЗА

1

Невероятному, опасному, в чем-то даже героическому путешествию Желтухина Пятого из Парижа в Лондон в дорожной медной клетке предшествовали несколько бурных дней любви, перебранок, допросов, любви, выпытываний, воплей, рыданий, любви, отчаяния и даже одной драки (после неистойвой любви) по адресу рю Обрио, четыре.

Драка не драка, но сине-золотой чашкой северского фарфора (два ангелочка смотрятся в зеркальный овал) она в него запустила, и попала, и ссадила скулу.

— Елы-палы... — изумленно разглядывая в зеркале ванной свое лицо, бормотал Леон. — Ты же... Ты мне физиономию расквасила! У меня в среду ланч с продюсером канала *Mezzo*...

А она и сама испугалась, налетела, обхватила его голову, припала щекой к его ободранной щеке.

— Я уеду, — выдохнула в отчаянии. — Ничего не получается!

У нее, у Айи, не получалось главное: вскрыть его, как консервную банку, и извлечь ответы на все кате-

горические вопросы, которые задавала, как умела, — упереив неумолимый взгляд в сердцевиину его губ.

В день своего ослепительного явления на пороге его парижской квартиры, едва он разомкнул наконец обруч истосковавшихся рук, она развернулась и ляпнула наотмашь:

— Леон! Ты бандит?

И брови дрожали, взлетали, кружили перед его изумленно поднятыми бровями. Он засмеялся, ответил с прекрасной легкостью:

— Конечно, бандит.

Снова потянулся обнять, но не тут-то было. Эта крошка приехала воевать.

— Бандит, бандит, — твердила горестно, — я все обдумала и поняла, знаю я эти замашки...

— Ты сдурела? — потряхивая ее за плечи, спрашивал он. — Какие еще замашки?

— Ты странный, опасный, на острове чуть меня не убил. У тебя нет ни мобильного, ни электронки, ты не терпишь своих фотографий, кроме афишной, где ты — как радостный обмылок. У тебя походка, будто ты убил триста человек... — И вострепенувшись, с запоздалым воплем: — Ты затолкал меня в шкаф!!!

Да. В кладовку на балконе он ее действительно затолкал, — когда Исадора явилась наконец за указаниями, чем кормить Желтухина. От растерянности спрятал, не сразу сообразив, как объяснить консьержке мизансцену с полураздетой гостьей в прихожей, верхом на дорожной сумке... Да и в кладовке этой чертовой она отсидела ровно три минуты, пока он судорожно объяснялся с Исадорой: «Спасибо, что не забыли, моя радость, — (пальцы путаются

в петлях рубашки, подозрительно выпущенной из брюк), — однако получается, что уже... э-э... никто никуда не едет».

И все же вывалил он на следующее утро Исадоре *всю правду!* Ну, положим, не всю; положим, в холл он спустился (в тапках на босу ногу) затем, чтобы отменить ее еженедельную уборку. И когда лишь рот открыл (как в песне блатной: «Ко мне нагрянула кузина из Одессы»), сама «кузина», в его рубахе на голое тело, едва прикрывавшей... да ни черта не прикрывавшей! — вылетела из квартиры, сверзилась по лестнице, как школьник на переменке, и стояла-перетаптывалась на нижней ступени, требовательно уставясь на обоих. Леон вздохнул, расплылся в улыбке блаженного кретина, развел руками и сказал:

— Исадора... это моя любовь.

И та уважительно и сердечно отозвалась:

— Поздравляю, месье Леон! — словно перед ней стояли не два обезумевших кролика, а почтенный свадебный кортеж.

На второй день они хотя бы оделись, отворили ставни, заправили измученную тахту, сожрали подчистую все, что оставалось в холодильнике, даже полужасохшие маслины, и вопреки всему, что диктовали ему чутье, здравый смысл и *профессия*, Леон позволил Айе (после грандиозного скандала, когда уже заправленная тахта вновь взывала всеми своими пружинами, принимая и принимая неустанный сиамский груз) выйти с ним в продуктовую лавку.

Они шли, шатаясь от слабости и обморочного счастья, в солнечной дымке ранней весны, в путанице узорных теней от ветвей платанов, и даже этот мяг-

кий свет казался слишком ярким после суток любовного заточения в темной комнате с отключенным телефоном. Если бы сейчас некий беспощадный враг вознамерился растащить их в разные стороны, сил на сопротивление у них было бы не больше, чем у двух гусениц.

Темно-красный фасад кабаре «Точка с запятой», оптика, магазин головных уборов с болванками голов в витрине (одна — с нахлобученной ушанкой, приплывшей сюда из какого-нибудь Воронежа), парикмахерская, аптека, мини-маркет, сплошь обклеенный плакатами о распродажах, brassерия с головастыми газовыми обогревателями над рядами пластиковых столиков, выставленных на тротуар, — все казалось Леону странным, забавным, даже диковатым — короче, абсолютно иным, чем пару дней назад.

Тяжелый пакет с продуктами он нес в одной руке, другой цепко, как ребенка в толпе, держал Айю за руку, и перехватывал, и гладил ладонью ее ладонь, перебирая пальцы и уже тоскуя по *другим, тайным* прикосновениям ее рук, не чая добраться до дома, куда плестись предстояло еще черт знает сколько — минут восемь!

Сейчас он бессильно отметал вопросы, резоны и опасения, что наваливались со всех сторон, каждую минуту предъявляя какой-нибудь новый аргумент (с какой это стати его оставили в покое? Не пасут ли его на всякий случай — как тогда, в аэропорту Краби, — справедливо полагая, что он может вывести их на Айю?).

Ну не мог он без всяких объяснений запереть *прилетевшую птицу* в четырех стенах, поместить в капсулу, наспех слепленную (как ласточки слюной лепят гнезда) его подозрительной и опасливой любовью.

Ему так хотелось прогулять ее по ночному Парижу, вытащить в ресторан, привести в театр, наглядно показав самый расчудесный спектакль: постепенное преобразование артиста с помощью грима, парика и костюма. Хотелось, чтоб и ее пленил уют любимой гримерки: неповторимая, обворожительная смесь спертых запахов пудры, дезодоранта, нагретых ламп, старой пыли и свежих цветов.

Он мечтал закатиться с ней куда-нибудь на целый день — хотя бы и в Парк импрессионистов, с вензелистым золотом его чугунных ворот, с тихим озером и грустным замком, с картинным пазлом его цветников и кружевных партеров, с его матерыми дубами и каштанами, с плюшевыми куколями выстриженных кипарисов. Запасться бутербродами и устроить пикник в псевдояпонской беседке над водоемом, под картавый лягушачий треп, под треск оголтелых сорок, любуясь плавным ходом невозмутимых селезней с их драгоценными, изумрудно-сапфировыми головками...

Но пока Леон не выяснил намерений *друзей из конторы*, разумнее всего было если не смыться из Парижа куда подальше, то, по крайней мере, отсидеться за дверьми с надежными замками.

Что там говорить о вылазках на природу, если на ничтожно малом отрезке пути между домом и продуктовой лавкой Леон беспрестанно озирался, резко останавливаясь и застревая перед витринами.

Вот тут он и обнаружил, что одетой фигуре Айи чего-то недостает. И понял: фотоаппарата! Его и в сумке не было. Ни «специально обученного рюкза-

ка», ни кофра с камерой, ни этих устрашающих объективов, которые она называла «линзами».

— А где же твой *Canon*? — спросил он.

Она легко ответила:

— Продала. Надо ж было как-то к тебе добратся... Башли твои у меня тю-тю, спёрли.

— Как — сперли? — Леон напрягся.

Она махнула рукой:

— Да так. Один наркуша несчастный. Спер, пока я спала. Я его, конечно, отметелила — потом, когда в себя пришла. Но он уже все спустил до копейки...

Леон выслушал эту новость с недоумением и подозрением, с внезапной дикой ревностью, ударившей набатом в сердце: какой такой *наркуша*? как мог *спереть* деньги, когда она спала? в какой *ночлежке* оказался так вовремя рядом? и насколько же это *рядом*? или не в *ночлежке*? или не *наркуша*?

Мельком благодарно отметил: хорошо, что Владка с детства приучила его смиренно выслушивать любой невероятный бред. И спохватился: да, но ведь *эта* особа врать не умеет...

Нет. Не сейчас. Не вспугни ее... Никаких допросов, ни слова, ни намек на подозрительность. Никакого повода к серьезной стычке. Она и так искрит от каждого слова — рот открыт боязно.

Свободной рукой обнял ее за плечи, притянул к себе и сказал:

— Купим другую. — И, поколебавшись: — Чуть позже.

Честно говоря, отсутствие такой весомой приметы, как фотоаппарат, с угрожающими хоботами тяжелых линз-объективов, сильно облегчало их передвижения: перелеты, переезды... исчезновения. Так что Леон не торопился восполнить потерю.

Но скрывать Айю, неуправляемую, издалека заметную, не открывшись перед ней хотя бы в каких-то разумных (и в каких же?) пределах... задача была не из легких. Не мог же он, в самом деле, запирать ее в кладовке на время своих отлучек!

Он ужом вертелся: понимаешь, детка, не стоит тебе одной выходить из дома, здесь не очень спокойный район, много шляется разной сволоты — сумасшедшие, маньяки, полно каких-то извращенцев. Никогда не знаешь, на кого наткнешься...

Глулости, хмыкала она, — центр Парижа! Вот на острове, там да: один сумасшедший извращенец заманил меня в лес и чуть не задушил. Вот там было о-о-очень страшно!

— Ну хорошо. А если я просто тебя попрошу? Пока без объяснений.

— Знаешь, когда наша бабушка не хотела что-то объяснять, она кричала папе: «Помолчи!» — и он как-то сникал, не хотел старуху огорчать, он же деликатный.

— В отличие от тебя.

— Ага, я совсем не деликатная!

Слава богу, она хотя бы к телефону не подходила. Звонки Джерри Леон игнорировал и однажды просто не открыл ему дверь. Филиппа водил за нос и держал на расстоянии, дважды отклонив приглашение поужинать вместе. Две ближайшие репетиции с Робертом отменил, сославшись на простуду (вздыхал в трубку бесстыжим голосом: «Я ужасно болен, Роберт, ужасно! Перенесем репетицию на... да я сам позвоню, когда приду в себя», — и, похоже, небу следовало упасть на землю, чтобы он *пришел в себя*).

Ну, а дальше, как дальше-то быть? И сколько они смогут так отсиживаться — звери, обложенные опасным счастьем? Не может же она торчать с утра до вечера в квартире, как Желтухин Пятый в клетке, вылетая погулять под присмотром Леона по трем окрестным улочкам. Как объяснишь ей, не раскрываясь, странное сопряжение его светской артистической жизни с привычной, на уровне инстинкта, конспирацией? Какими отмеренными в гомеопатических дозах словами рассказать про *контору*, где целая армия специалистов считает недели и дни до часа икс в неизвестной бухте? Как, наконец, не потревожив и не вспугнув, нащупать бикфордов шнур в тайный мир ее собственных страхов и нескончаемого бегства?

И вновь накатывало: насколько, в сущности, они беззащитны оба — два беспризорника в хищном мире всесветной и разнонаправленной охоты...

* * *

— Мы поедem в Бургундию, — объявил Леон, когда они вернулись домой после первой хозяйственной вылазки с чувством, что совершили кругосветное путешествие. — В Бургундию поедem, к Филиппу. Вот отпою спектакль тринадцатого, и... да, и четырнадцатого запись на радио... — Вспомнил и простонал: — О-о-о, еще ведь концерт в Кембридже, да... Но потом! — увлекающим и бодрым тоном: — Потом мы обязательно уедem на пять дней к Филиппу. Там леса, косули-зайцы... камин и Франсуаза. Ты влюбишьcя в Бургундию!

За туманную кромку этих пяти дней боялся заглядывать, ничего не соображал.

Он вообще сейчас не мог соображать: все внимание его, все нервы, все несчастные интеллектуальные усилия были направлены на то, чтобы ежесекундно держать круговую оборону против своей возлюбленной: вот уж кто не заботился о подборе слов, кто забрасывал его вопросами, не спуская требовательных глаз с его лица.

— А как ты узнал наш адрес в Алма-Ате?

— Ну-у... Ты же его называла.

— Врешь!

— Да это простейшая задача справочной службы, клещ ты мой ненаглядный!

Как-то выходило, что ни на один ее вопрос он не мог дать правдивого ответа. Как-то получалось, что вся его крученая-верченая, как пороссячий хвост, проклятая жизнь была вплетена в замысловатый ковровый узор не только личных тайн, но и совершенно закрытых сведений и кусков биографий — и своей, и чужих, — на изложение которых, даже просто на намек он права не имел. Его Иерусалим, его отрочество и юность, его солдатская честная и другая, тайная, рискованная, а порой и преступная по меркам закона жизнь, его блаженно растворенный в глотке, гортанно перебирающий связки *запретный* иврит, его любимый *богатый* арабский (который он иногда прогуливал, как пса на поводке, в какой-нибудь парижской мечети или в культурном центре где-нибудь в Рюэ) — весь огромный материк его прошлого был затоплен между ним и Айей, как Атлантида, и больше всего Леон боялся момента, когда, отхлынув естественным отливом, их утоленная телесная жажда оставит на песке следы их беззащитно обнаженных жизней — причину и повод задуматься друг над другом.